

# ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

---

А. К. СЕКАЦКИЙ\*

## ЕВРОПЕЙСКИЙ РЕССЕНТИМЕНТ И ГРЕЧЕСКИЙ ЛОГОС\*\*

*Аннотация:* В статье рассматривается принципиальное различие между двумя траекториями распада прямой чувственности: логотомией и, собственно, рессентиментом. Логотомия предстает как ужесточение правил поступка и как высшая гарантия собственной суверенности, рессентимент рассматривается как непременно возникающее здесь злоупотребления словами (и понятиями). В статье представлен также анализ различных исторических проявлений логотомии и возможное обретение «новой целостности» за счет совпадения внутренних измерений присутствия и прекращения работы негативности.

*Ключевые слова:* рессентимент, логотомия, чувственная достоверность, логос и поэзис, истина высказывания и истина бытия, доказательство в морали.

A. K. SEKATSKIY

## EUROPEAN RESENTIMENT AND ANCIENT GREEK'S LOGOS

*Annotation:* The article discusses the fundamental difference between two paths of decay of direct sensuality: logotomy and actually, resentment. Logotomy appears as a tightening of the rules of the act and as the ultimate guarantee of human sovereignty, resentment is viewed as certainly arises here the abuse of words (and concepts). The article also presents an analysis of various historical manifestations of logotomy and the possible acquisition of a «new integrity» due to the coincidence of the internal dimensions of the presence and cessation of the work of negativity.

*Key words:* resentment, logotomy, sensitive authenticity, logos and poesis, the truth of the statements and the truth of pure existence, proofs in moral world.

---

\* Секацкий Александр Куприянович, кандидат философских наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет.

\*\* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, грант № 16-03-00669.

\* \* \*

Если вообще можно говорить об открытиях в философии, то навскидку их вспоминается три: *ego cogito* Декарта, гегелевская диалектика (работа негативности) и рессентимент Ницше, Это если не считать греков, которым в философии принадлежат все остальные открытия.

Идея рессентимента как психологической группировки или перегруппировки обладает мощным эвристическим потенциалом, не исчерпанным и по сей день, она объясняет множество обострений, осложнений и воспалений человеческого поведения, в том числе и феномен осложненной рефлексии и даже самую моральную рефлексию в ее специфических берегах в большинстве пунктов ее исторической встречаемости. Но не везде и не повсюду. Объясняя многое, универсальность рессентимента кое-что и скрывает, она скрывает нечто на манер недостающей массы, темной материи и темной энергии, можно сказать, что и самого Ницше его ослепительная идея рессентимента лишила чести еще одного открытия, конечно же, принадлежащего Элладе. Говоря коротко, эта неопознанная гравитация есть логос — очень похожий на рессентимент, но таковым не являющийся. Приступим к разбирательству.

В большинстве таких поединков Ницше выходит победителем, нанося точные, можно сказать, неотразимые удары ревностным морализаторам. Ну вот, например:

«Мораль, в своей основе, враждебна науке: уже Сократ так настроен, и именно потому, что наука придает значение таким предметам, которые с “добротом” и “злом” не имеют ничего общего и, следовательно, уменьшают значительность чувства добра и зла. Ведь мораль хочет, чтобы к ее услугам был весь человек и все его силы. Ей кажется расточительностью со стороны того, кто для расточительности недостаточно богат, если он серьезно отдается растениям и звездам»<sup>1</sup>.

Интересное наблюдение, и все же Ницше раз за разом промахивается в своих атаках на греческий феномен:

«Какое же значение имела, в таком случае, реакция Сократа, который рекомендовал диалектику как путь к добродетели и насмеялся над моралью, которая не была в состоянии логически оправдать себя?

Когда доказуемость была поставлена предпосылкой личной добродетельности, то это ясно указало на вырождение греческих инстинктов. Сами они — типы вырождения, все эти “герои добродетели”, мастера слов»<sup>2</sup>.

Дело, однако, в том, что это и есть логос, таков, каков он есть. Да, изощренность сознания призвано компенсировать недостаток свободной мощи, и Ницше не упускает случая подчеркнуть это:

«Нужно очутиться в затруднительном положении, нужно стоять перед необходимостью насильственно добиваться своего права — только тогда можно воспользоваться диалектикой. Евреи поэтому и были диалектиками, Рейнеке-лис — тоже, Сократ — тоже»<sup>3</sup>.

А вот и нет. Евреи и Рейнеке-лис и в самом деле практикуют компенсирующую диалектику, однако Сократ, если присмотреться, берет на себя добровольные трудности, а главное — Ницше не заметил, сколько азарта, хюбриса, состязательности и, как ни странно, веры в результат в этом упражнении сознания, в настоящих Олимпийских играх сознания, идущих непрерывно и собственноручно именуемых Логосом. Все следует преобразовать в знание, в частности, в рассуждение, необходимо проверить всякий феномен на предмет возможности преобразовать его в знание. Фронезис и эпимелея неразлучны со знанием в этой олимпиаде. Очень трудно понять, что Аристотелева силлогистика, искусство пропорций и музыкальных интервалов Пифагора, моралистика Сократа и «Никомахова этика» Аристотеля, а, возможно, и вычисления Евклида — суть звенья одной цепи и разница прежде всего в том, что в одном случае феномен легче поддавался логосу, а в другом возникали нешуточные проблемы. Скажем так: формализация логики прошла с большим успехом чем формализация этики, но предположим также, что преуспеть хотелось в равной мере и там, и там. Так ли уж зря Сократ насмехался над той моралью, которая не в состоянии логически оправдать себя? Опыт, который не в состоянии себя выстроить логически (в соответствии с логосом), вызывал насмешку и пренебрежение у эллинов. А вот если удалось исчислить правильную пропорцию, золотое сечение аффективно-поведенческого типа, рассчитать оптимальную дистанцию между безрассудством и трусостью — то это и служило поводом для уважения и приносило пользу. Ни один народ во всей Ойкумене не имел ничего подобного этому эллинскому логосу, всюду нацеленному на соразмерность, а значит — занимающегося соотношением размеров. Разбавленное вино, отлично годящееся для пира, и разбавленное безрассудство, пригодное для боя, — они вовсе не так уж далеки друг от друга. А исчисления проводятся на автопилоте, как прыгун по мере приближения к точке прыжка соизмеряет разбег, но могут быть

и показаны, могут предстать в открытом режиме. Так же происходит и у ученика с собственно арифметическими подсчетами, и как раз это имели в виду Сократ с Платоном, утверждая, что добродетель есть знание. Это знание трудно формализовать, оно останется слишком практическим, но в случае чистой души настройка, установка лада и подгонка пропорций возможны.

Вот что такое логос эллинов, нисколько не похожий на резонанс «гуманистов» и учителей жизни, где бесчисленные моральные резоны действительно указывают на бессилие морали. Если на что-то и похоже это бесстрашие *силовых исчислений*, сквозных бурений, входящих во все породы подобно буру, если оно на что-то и похоже, то на столь же сквозное римское *чувство права*, от которого последующие народы заимствовали только готовую систему без чувственной достоверности.

Промаях Ницше проявляется уже в «Рождении трагедии», где он обвиняет Сократа и последующих моралистов в осуждении дионисийского начала. Здесь видит Ницше начало изнеженности и работу компенсации — и ошибается, ибо это как раз суверенность как образ жизни, действительный практический разум (логос), а не один только его титул как зачастую бывает у Канта.

Иллюстрацией дионисийства могло служить любое архаическое общество, иллюстрацией логоса — только Эллада. Так что дело даже не в эксклюзивности морали как резонирования, просто мораль была, возможно, самой неподатливой и интересной породой, но пропорции и исчисления пронизывали также весь греческий эстетизм.

Мы победили врагов — но кто из нас был лучшим? Мы готовы проверить это и многое другое в состязании. А мораль — какой же в ней прок, если она не может отстоять собственные основания? Если она не победительна в споре, будет ли так уж хороша она на деле? И это не рессентимент, этому феномену, собственно, греческому чуду, подобает свое, особое имя. Трудно найти в истории другие прецеденты — впоследствии нечто подобное происходило, вероятно, и у либертенов, и у героев де Сада и, конечно, у русских нигилистов, когда «природная доброта» не интересовала по-настоящему нравственного человека... Но греческий логос все же остался беспрецедентным в истории.

Следовательно, великий эллинский клинамен — отклонение, уводящее от подлинности прямой чувственности и прекрасно описывающее как пациентов Фрейда, так и пациентов Яхве, рессентиментом не является. Перед нами нечто весьма похожее в проявлениях, но сущностно радикально иное.

\* \* \*

Едва ли не прежде всего рессентимент проявляется как осложнение прямой чувственности, открывающее дорогу богатому пласту компенсаторных реакций. Начинается выработка психологичности и, собственно, психологии, в терминологии Ницше, изошренности и «измораленности» всякого рода. Но к описанию получающегося в результате «интересного животного» после Достоевского, Фрейда и самого Ницше не так много можно и добавить<sup>4</sup>. Однако, во всех описаниях, в самых подробных картина явлений, присутствует неучтенная, недостающая масса, — по крайней мере, риск такого присутствия налицо и от него не избавиться если не зарегистрировать эту подвергнутую столь надежной маскировке инородную силу.

Ярче всего она обнаруживается в греческом логосе, в том числе — и как сам этот логос. Но даже и здесь подобная монополия, назовем ее так, дополнена и смикширована парными силами и началами, в свою очередь различными друг другу. Это и дионисийское начало, в рамках которого открываются великие архаические резонаторы иночувствия, — по отношению к нему исходно и задается рессентимент, и агональность-сопоставительность, накрывающая логос, но уходящая за его пределы, и практики толкования Дельфийского оракула (как и других), обеспечивающие производство жребия и участи.

Всепроникающий логос (по аналогии с проникающей радиацией имеет все же опознаваемые черты, повсюду отличающие его и от рессентимента, и от прямой чувственности. Опознаваем он и в структурах сопоставительности, и едва ли не единственным, кто предложи тематизацию логоса в этом предельно широком смысле был М. К. Петров, согласно его трактовке, «греческое чудо» определяется тем, что в отличие от лично-именного и профессионально-именного кодирования управляется понятийным кодом — осуществляется «управление по слову»<sup>5</sup>. «Логос» как раз такое слово, которое обладает валентностью ко всем словам, то есть способно присоединять их со всех сторон и само входить в любые длинные цепочки. То есть это не просто слово из сферы *Gerede*, но и не понятие, которое производно от логоса и представляет собой частный и более поздний случай. Можно даже сказать, что понятия были отобраны постепенно, посредством селекции, причем этот отбор не закончился и до сих пор. «Логос» этимологически есть производное от греческого глагола «legein» (связывать, сплетать), и количество сплетений и хитросплетений достаточно велико, причем сплетения осуществляются

безотносительно к линиям «первоначальной разорванности». Некоторые образующиеся связи действительно, так сказать, пригодны для управления, другие, так сказать, подлежат проверке, в целом же жгутики рассеченной гидры порой словно наощупь оплетают друг друга, ведь архаическая адресация («программирование в имя») сбито, однако ожидавшейся «хаотизации», ожидаемого расчеловечивания не наступило, и в этом первая, быть может самая чудесная часть греческого чуда.

Адресный текст-инструкция поступает на приемное устройство и воздействует на него, «наматывается» как информационная РНК в процессе производства белков. Список имен или реестр приемных устройств и обеспечивающих важнейшие типы и результаты деятельности. Это могут быть и поведенческие реакции, и резонаторы коллективных аффектов, и профессиональные результаты, то есть конечные изделия, будь то изделия кузнецов, гончаров, могильщиков или номографов. Проникающая *логотомия* рассекает целостность текста-инструкции и отсекает адресную строчку. Благодаря этому обнаружаются промежуточные сцепления и, тем самым, визуализируется *странное знание*, которому не достает концевых элементов, самих «фиксаторов know how». Оно-то, это знание, и именуется «эпистеме», то есть общее, пригодное для множества достаточно разнородных концевых соединений. Именно его и воспевают Сократ, Платон и Аристотель, да можно сказать и эллины в целом, поскольку это и вправду их уникальная, судьбоносная особенность.

Оценки такого знания, безусловно, зависят от того, как к нему подойти. С одной стороны, это знание причин, первоначал, знание, приближающее к Единому. С другой — его оборванные нити болтаются как не пришей кобыле хвост, и ничего весомого с обрывков не свисает. Так склонны были оценивать чистый логос и многие эллины, и, безусловно, все варвары, для которых пустые слова, не ведущие ни к какому «ноу хау», должны были казаться проявлением абсурда, как и время, потраченное на ведение разговоров об «отсутствующих предметах», — о подковах, которые не будут выкованы, об амфорах, которые никакой гончар не изготовлял, о лире и арфе в качестве примеров, об определении, которого никто не требовал...

Большинству эллинов подобные разговоры, которые они вскоре стали называть «рассуждениями», вовсе не казались ни пустопорожними, ни абсурдными, им предавались охотно, на них тратили время и даже лучшее время, драгоценное достояние свободных граждан. Все это практиковалось

с увлечением, с азартом, с хюбрисом, в совокупности это и был логос во всей красе, а в интересующем нас аспекте — логотомия, принудительное обращение к оголенным проводам или паутинкам, которое временами и принимало характер рассуждений, исчислений, выстраивания пропорций, получая при этом солидарно высокую оценку. И это, собственно, имеет в виду Сократ, когда говорит о чрезвычайной важности знания оснований мужества, оснований прекрасного и добродетели вообще. И это не похоже на осложнения и воспаления рессентимента, поскольку нет внешних, присоединенных целей, к которым нужно уметь перегнать и «перелгать» как говорит Ницше, те или иные обстоятельства, будь они чувственными или правовыми. Греки просто решаются, воистину решаются неведомо на что, и негативная практика софистов тому подтверждение. Ведь слова и обрывки слов, входящие в зацепление, еще не понятия, но они никогда бы и не стали понятиями, если бы ни мужество и безоглядность эллинского логоса.

\* \* \*

Итак, прежде чем по монолитному кристаллу души пошли трещины рессентимента, прежде чем трансперсональный проект Юнга (распадающийся на архетипы) сменился «проектом Фрейда» (двоящееся бессознательное), имел место еще один тектонический разлом, великая логотомия, породившая греческое чудо и, в значительной степени, саму нашу цивилизацию. Первый логотомический разлом остался незаметным в своей сущностной значимости, а все его последствия были приписаны рессентименту, притом, что честь открытия и «честь закрытия» принадлежат одному и тому же человеку, Фридриху Ницше. Катастрофа рессентимента породила психику (из психеи) и ее последствия, вместе с великим порождением (становлением в отличие от трансформаций) следует считать на сегодняшний день почти преодоленными. Логотомия приводит к не менее чудесным следствиям, список которых до конца не ясен. Но среди них как бы между прочим логика и этика, плоды рассечения мифоса и этоса, плоды логотомии. Рессентимент застаёт логику уже в целом готовой, но пользуется ею чрезвычайно лукаво в результате чего метафизика по-прежнему «шита белыми нитками», то есть связи, узлы избранных понятий набросаны на скорую руку, и общее (и по сей день) правило применения логики таково: чем ближе к важнейшим сингулярным точкам расположены логические связи, тем менее они «логичны». Это можно

назвать минимизацией логической добросовестности по мере приближения к центру откровения, в том числе — личного откровения. Но практически все это есть результат вторичного злоупотребления, ответственность за которое несет рессентимент, причем прежде всего в «иудейско-христианском» изводе, который Ницше преимущественно и исследовал, и изобличал.

Первый тектонический разлом не мог предполагать заранее направление дрейфа «тектонических плит» — и каким образом эллинская состоятельность, беспрецедентная атмосфера полемоса, смогла задать подходящие критерии отбора, настроить механизм селекции — это остается в значительной мере неясным, очевиден лишь общий ажиотаж, с которым подвергались проверке все новые сплетения глагола *legein*, налицо интенсивность аполлонической настройки. Выражение «броситься в стихию Диониса» звучит достаточно привычно: потерять себя, потерять голову от любви, от гнева, от неодолимой силы искусства (например, трагедии) это вроде само собой разумеется... Как-то так оно и происходит. А Аполлон, со своей стороны, предлагает систему сдержек и противовесов, он охлаждает горячие головы, обуздывает неистовых, подбивая для этой цели и к резонерству, которое, впрочем, способно выйти и к собственной цели. Впрочем, если бы повадки этого бога были действительно таковы, он мог бы быть Богом Рессентимента и рессентимент, возможно, считался бы священным аполлоническим состоянием, как одержимость Вакхом, только с другим знаком. Но, похоже, что эллины бесстрашно бросались в аполлоническую стихию, как в омут, с головой, понимая, что и она «жестче, чем лихорадка оттреплет» (А. Ахматова), не уступит в этом качестве Элевсинским мистериям и другим дионисийским погружениям. Именно этим сущность логотомии радикально отличалась от рессентимента.

Среди прочего это означает, что и логика была обретена отнюдь не путем завидного повторения или педантичной схематизации. Поначалу среди сплетений вовсе не доминировали те, которые в качестве образцов банальности приводит Аристотель: все люди смертны, Кай человек, следовательно, Кай смертен. Хотя бы даже категорические силлогизмы Аристотеля действительно отражали порядок сущего, это вовсе не значит, что исторически они сразу же, первыми, подвернулись под руку. Есть основания подозревать, что первоначально, после великой логотомии, выделившей Элладу из всей Ойкумены, типичным силлогизмом была вовсе не история о смертности Кая, а сплетения совсем другого типа, что-нибудь вроде «у верблюда два горба, потому что



жизнь — борьба». Еще раз заметим, что конденсация логики и методологии, селекция пригодных рассуждений, происходила постепенно, и сама эта селекция, хотя и была запущена логотомией, но не она определяла ее суть. Суть, скорее, определялась готовностью к высоким ставкам в азартной игре, в том, чтобы отдавать себе отчет всюду: и в царстве техне, где имеющиеся ноу-хау не предполагали самоотчета, и в священном неистовстве, и даже в том, в чем именно прекрасен Гомер, как раз этому Сократ учил Иона, проводя в его присутствии безжалостную логотомию.

Следует заметить также вот что. Не ошибиться насчет смертности Кая и «бледности» силлогистического Сократа, было, конечно, важно, но, скажем так, не смертельно. А вот ошибиться насчет оснований мужества, что оно такое, — это могло стать воистину фатальным, учитывая решимость афинян и других эллинов довериться рассуждениям. Даже сегодняшних читателей иногда охватывает опасение за собеседников Сократа, особенно когда они, стойкие, мужественные воины, вроде Главкона, начинают теряться и плутать в мужестве, тем самым явно затрудняя себе задачу его сохранить. Но ведь не отмахиваются от логотомии, от состязаний на поприще Логоса! Похоже, никто из эллинских мудрецов не внял бы предупреждению Иисуса «бойся смутить одного из малых сих!»

Не бояться эллины, что в бою могут дрогнуть, споткнуться, утратив безмолвную, надежную, трансперсональную опору мужества и оставшись вместо нее с неким сплетением или даже хитросплетением Сократа. Не подобает этого бояться свободному эллину, смело бросающемуся в стихию Логоса, в добровольную логотомию. И софисты, профессиональные сталкеры логотомии, и у них не было недостатка в слушателях, притом что нигде за пределами Эллады софисты не вызывали такого мощного эффекта ужаса, зачарованности, внезапной готовности подчиниться полному абсурду, раз уж в результате рассуждений оказалось, что так обстоит дело.

Эта странная, своеобразная честность и подстерегающая опасность весьма далеки от рефлексивной изошренности рессентимента, которой, в этом смысле и в этом случае нечего и опасаться, ибо альтернатива в виде прямого действия и прямой чувственности все равно разрушена, логотомия состоит в родстве со всем с другими феноменами. Навскидку вспоминается институт диспутов в тибетском буддизме (Гелугпа) с его идеальным принципом «победи или умри». Общность тут, в частности в том, что без этого диспута вера не стала бы слабее,

ведь никакое постороннее резонерство не в состоянии ее подменить — но рождается новая решимость и делается запредельно высокая ставка. Пресловутых категорий извращенной чувственности — заблудившихся аффектов со смещенным адресом (зависть, ревность, обида, вина) идеальная логотомия не предполагает, так что вполне мыслима непосредственная мирополагающая рефлексия по принципу «пан или пропал» — сюда входили бы и императивы чистого практического разума, рыцарские девизы абсолютной суверенности, — входили бы, если бы не вирус лжи который именно здесь (или и здесь тоже) обнаруживает для себя питательную среду, а вслед за тем и поводырей, тех самых жрецов рессентимента, о которых так красочно писал Ницше.

\* \* \*

И что же? Пока мы обнаруживаем параллели в месте надлома прямой чувственности, сбоя архаических резонаторов. Активной силой является логотомия, способная расщеплять гранитную плиту трансперсональной архаики на ровном месте. Но тут же и рессентимент с его резонерством, возникающий с неизбежностью там, где феномен уже надломлен и логотомия запущена. В некотором смысле логотомия есть род автотравматизма, динамическая аскеза, стойкое воспаление, причиной которого является «жало в плоть», при том что новая плоть должна быть уже доведена до состояния естественности. Такова как раз эпимелея в случае греков — и это важное различие, ибо рессентимент при всей виртуозности (М. Вебер) не становится естеством. А вот логос есть жало в плоть, ставшее плотью, пусть даже и плотью, непрерывно провоцирующей богов и природу. Рессентимент, несомненно, тоже есть разновидность жала или стрекала, но жало это сильнее всего напоминает осиновый кол, забитый в естество, — кол, удерживающий плоть в принципиальной несобранности и разорванности. Желательное, непрерывно воспроизводимое следствие рессентимента — трепет души и хаос тела, тогда как девиз логоса — настройка души (на слух) и сопровождающая ее настройка тела, пусть травматическая и безжалостная, ведь в ходе логотомии наносятся раны, происходит «рассечение» и последующее сшивание, вторичное сплетение концов в духе глагола *legein*. Мы смело можем назвать это творчеством. С неперменной раной работает и рессентимент, но, как пронизательно заметил все тот же Ницше, жрец Рессентимента, совершая исцеляющие действия, при этом *отравляет рану*, чтобы вызвать воспаление, переходящее в лихорадку и бред — таков

рессентимент на всем протяжении его заданности. Приметы его мы и в самом деле видим повсюду: воспаленная рана, уязвленная плоть и деятельный дух, направляющий усилия в поддержании плоти в положении ниц.

Далее. Рессентимент, в сущности, — это удавшийся реваншизм брахманов, выполняемый специалистами по словам новой формации, как правило, не осознающими свое родство с распорядителями ритуала (последние три ипостаси — нигилисты, комиссары, активисты). Возможно, что сам по себе рессентимент древнее пробудившегося логоса с его «взбесившимися знаками» (М. К. Петров); возможно, что они одновременны, как волны сейсмической активности, пришедшие с разных сторон или расходящиеся в разные стороны. Вся «фишка» в том, что в пределах некоей минимальной дистанции логотомия и рессентимент взаимодействуют: переплетаются, отталкиваются и сливаются, расходясь на иных участках чрезвычайно далеко друг от друга. Метафизическая зоркость к деталям этого процесса могла бы стать важнейшим методологическим приемом и способствовать содержательному наполнению дисциплины (то есть могла бы и метафизику сделать дисциплиной), если бы Ницше в свое время выявил соответствующий параллакс и не стал списывать все обновления и сбои на счет рессентимента, — все психологические осложнения, проявления нигилизма и уловки воспаленного авторствования. Собственно, только Ницше и мог это сделать, развести по разным полюсам сейсмические волны зыбления. Только он, учитывая характер таланта и тот факт, что античность всегда была перед глазами, была предметом его постоянных размышлений, мог. Мог, но не сделал. Это повлияло и на его пристальный анализ нигилизма, становящийся местами смутным и путанным. Ну как можно было зачислить Сократа и Вольтера в один разряд, прибавив сюда еще и *ребе*, знающего все насчет соблюдения субботы и готового объяснить любой нюанс? Как можно было объединить софистов с фарисеями и их наследниками, лукавыми пророками и учителями жизни? Смещение и вправду произошло, и, быть может, оно не так уж и удивительно, учитывая ничтожность параллакса, учитывая и то, что сама Греция в эпоху эллинизма действительно стала рассадником рессентимента (однако, ни к софистам, ни к Сократу это напрямую не относится), а также и то, что рессентимент и логотомия, несомненно, обладают свойством взаимоиндукции. Но согласимся с Ницше — рессентимент универсален как реванш жреческой касты, реванш успешный, повсеместно сокрушивший власть воинов (доминанту меча)

и господство воинского братства. О логотомии такого навскидку не скажешь, хотя, как уже отмечалось, именно она ответственна за греческое чудо: Логос имеет свою малую родину так же, как и Иисус.

Как бы там ни было, но восхождение логоса не прошло бесследно. Хотя безусловное господство по всему фронту человеческого обрел рессентимент, но его жрецы овладели рефлексией, которую застали уже наличной — и они же продолжают определять ее вектор вблизи важных гравитаций (праведность, мораль, сегодня еще и политкорректность) Так что по-прежнему совсем немногие свободные умы могут идти своим путем. Следует, однако, исходить из того, что в последующих завихрениях рефлексии, ее исторических всплесках, можно выделить независимую логотомическую составляющую, то поглощаемую рессентиментом, то высвобождающуюся в качестве решимости — той самой, когда более всего прочего «надобно мысль разрешить». Логотомия, конечно же, порождает свои фигуры рефлексии; их можно опознать по особой безоглядности и непредсказуемости как в уже упоминавшемся тезисе «у верблюда два горба, потому что жизнь — борьба!» или «очень я тебя люблю, и поэтому убью!» Безоглядность логотомии отчетливо контрастирует с предсказуемой причудливостью, если можно так выразиться, плетений и хитросплетений рессентимента. Вот два образца, принадлежащие, соответственно, к чистой логотомии и к рефлексии рессентимента.

1. «Не бойся, твоя душа умрет еще раньше, чем твое тело, и именно поэтому не бойся ничего». Так Заратустра говорит канатному плясуну.

2. А вот образец, которым может руководствоваться любой сталкер рессентимента: «Плата, взимаемая психоаналитиком за лечение, имеет в виду интересы не только аналитика, но возможно в первую очередь интересы самого пациента, который, не уплатив денег, отнесется к лечению невнимательно и в результате надлежащего лечения так и не получит». Это, понятное дело, Фрейд.

Вроде бы оба изречения нетривиальны, но второе не может принадлежать канатному плясуну, только ребе, учителю жизни, психоаналитику или другому жрецу рессентимента.

Но параллакс есть параллакс, и далеко не всегда различия столь очевидны. Нередко различие обнаруживается лишь в мотивации, в полном соответствии с изречением Конфуция: «Муж благородный не тот, кто поступает всегда иначе чем простолудин, но тот, кто даже поступая точно так же, делает это

по иным причинам». В многочисленных объективациях и автономных структурах, в великих идеях, когда-то овладевших массами и продолжающих ими владеть, в Реформации, в Просвещении, в революциях и поветриях, колеблющихся эпохи (и психоанализ можно считать таким поветрием), мы можем теперь увидеть не только дихотомию ressentimentа и прямой чувственности, всегда искажающую картинку, но и яркие штрихи логотомии, не пугающие господина, а наоборот, придающие ему сил.

Продолжая сравнительный анализ, отметим, что логотомия зачастую оказывается, так сказать, персональной молнией, рассекающей то или иное эмпирическое единство апперцепции, и в этом, вообще говоря, преобладающем, случае логотомия имеет силу и характер индивидуальной идеи фикс. В мифологическом или сказочном ключе персональная логотомия запечатлена, например, в «1001 ночи», в частности, в эпизоде который использовал Лазарь Лагин в «Старике Хоттабыче». Там старший брат Хоттабыча, тоже джинн, провел в заточении в кувшине больше времени чем сам Гассан Абдурахман ибн Хоттаб, и его монолитная природа как духа покрылась трещинами пронизывающей рефлексии. Первая молния расщепляющей логотомии гласила: «Я исполню любых три желания того, кто освободит меня из заточения!» Но результата не последовало, и через тысячу лет образовалась новая трещина: «Кто освободит меня из заточения, тут же умрет, но умрет смертью, которую сам выберет». Что ж, типичный логотомический (хотя и дологический) ход: очень я тебя люблю, и поэтому убью. Если «логотомия» в общем виде означает Сечение, например, рассечение самодостаточности сенсориума посредством довода или тезиса, то и «шизофрения» тоже буквально означает «расщепление», раскол. Однако значение глагола *legein*, как мы помним, «связывать», «соединять», то есть как бы устранять последствия разрыва, который (такова уж диалектика) сам же и был нанесен первым выпадом логотомии. Ressentiment углубляет уже наличные трещины сенсориума и этоса, создавая рыхлую породу с огромным количеством пустот. Логотомия сама инициирует разрывы и глубокие проникновения, учреждая новую причинность и новые основания человеческого бытия, даже пытаясь их по-своему стабилизировать. В результате, последовательность истин Будды в случае задач логотомии несколько модифицируется:

1. Безмятежность пронизывается страданием, жалом в плоть и в психею.
2. Разделенные части пронзенного целого исцеляются посредством новых мостиков и связываний.

3. Это *исцеленное* становится либо новым естеством, либо вирус resentmentа воспаляет раны, так что естество не заживает никогда, оставаясь израненным, оставаясь чем-то в идеале сверхъестественным, а на практике противоестественным.

Нас индивидуальные расщепления сами по себе не интересуют, нас интересуют умонастроения и трансперсональность — то, что в индивидуальных телах только присутствует, а базируется за их пределами. Лишь в этом случае экстатическая аргументация может обрести модус длительного существования, каким бы радикально инновационным и даже мироотрицающим он ни был. Да, угроза возникновения переизбытка абсурда, равно как и угроза расчеловечивания, существуют, но сплетения слов, избранные приемы связывания аргументов, могут создать и пригодное для обитания пространство: сама логика, однажды сплетенная эллинами из обрывков логотомии, является ярким подтверждением тому. И сколько бы потом, *post factum*, ни выводили логику из законов самого естества (а рефлексия практического разума вполне позволяет сделать это), все равно остается некая смесь недоумения и восхищения, по поводу того, что данное предприятие удалось...

Большинство других прорывов логотомии не увенчалось подобным успехом, но понятно, что присмотреться к ним было бы чрезвычайно важно и интересно. В отношении феномена либертинажа соответствующие попытки были предприняты<sup>6</sup>, но в отношении феномена в целом, феномена экспроприации логотомии ressentimentом, расследование пока не было проведено. Досадно, поскольку это могло бы пролить свет на последующие социально-культурные феномены, в том числе — и на происхождение психоанализа. Не менее интересен и феномен русского нигилизма, буквально заморозивший Ницше. Здесь можно зафиксировать прорыв логотомии, доходящий до уровня своеобразного перфекционизма — и столь же мощный пласт ressentimentа, поглощенный в коллективном неврозе (прежде всего, неврозе зависти), агональную площадку героев Достоевского и Чернышевского вместе с их реальными прототипами.

Этот исторический казус в каком-то смысле до сих пор остается беспрецедентным. Ведь эти молодые люди, которые буквально потрясли Россию во всех смыслах, не были придуманы ни Чернышевским, ни Достоевским, ни Тургеневым. Увиденные в качестве «бесов» (персонажи Достоевского) и в качестве самых честных представителей юного поколения (как Вера Фигнер

в поэме Евтушенко — «народоволка с чистым детским лбом») они предстают как те же люди великой и решительной логотомии. Кажется порой, что они близнецы и братья: Ставрогин и Верховенский, Михайлов и Нечаев... Присмотревшись, однако, можно понять, что они близки волею судьбы, но в действительности, благодаря параллаксу, бесконечно малому смещению, дифферансу между логосом и рессентиментом, между бесстрашным перфекционизмом состязательности и воспаленным рессентиментом, неизменно порождающим своих харизматических жрецов, о братстве не может быть и речи. Разве что в смысле известного прикола: «они как близнецы и братья: у одного ни отца ни матери, у другого ни стыда ни совести».

С бесовщиной здесь все более или менее ясно, с ней разобрались и сами потерпевшие, начиная с альманаха «Вехи» (сначала, конечно, Достоевскому не поверили), но как быть с безоглядной и бескорыстной логотомией? Что в данном случае значит это жало в плоть, понимаемое как гвоздь в задницу Рахметову?

Дело, следовательно, не только в бесах и их заклинаниях, несущих в себе удвоенную бесовскую природу. Дело хоть и в замаскированном (самой историей), но несомненно имеющемся сходстве между персонажами Достоевского и персонажами сократических диалогов Платона: им *надо мысль разрешить*, надо связать доказательствами континуум собственных поступков — причем далеко не все их этих доказательств суть «отмазки», способы легитимации некоторого цинического интереса или, как говорит Фрейд, орудия «рационализации». Честные нигилисты готовы подчиниться собственному силлогизму, сколь бы странным ни казались сам силлогизм и следующий из него вывод. Если настроена система взаимных конвенций, силлогизм обретает безапелляционный характер, даже если является собственным смертным приговором. Как всегда безупречно чуток к таким вопросам Достоевский — вспомним его анализ в «Дневнике писателя» предсмертной записки юноши-студента: «Я умираю потому, что честен Добролюбов». Какой бы степени изощренности ни достигал рессентимент, он не в состоянии вынести подобный приговор. Вынести самому себе — другому, разумеется, вполне в состоянии.

Когда Лопухин и Кирсанов решают, с кем должна остаться Вера Павловна, любимая женщина для обоих, они это именно *решают*, и основанием решения будет правильный вывод из признанных посылок. Таким же он будет и для самой Веры Павловны, поскольку она тоже *новый человек*. Для людей другой

эпохи (лучше сказать — эпох) тут только странность, нелепость или причуда, но современникам Чернышевского такое положение вещей странным вовсе не казалось, как и собеседникам Сократа не казалось странным идущее вразрез с очевидностью и полное опасностей рассуждение.

Этого удивительным образом не углядел Ницше:

«Моральная оценка, как высшая, была бы опровергнута, если бы можно было доказать, что она является следствием некоторой *не моральной оценки* (курсив мой, — А. С.), что она — специальный случай реальной неморальности; она свелась бы сама таким образом на некоторую видимость, и, как видимость, не имела бы уже права осуждать “кажущееся”, иллюзию»<sup>7</sup>.

Как раз наоборот. Настоящая решимость не задумалась бы отвергнуть мораль — что она Ставригину, что она нигилисту, которому «надобно мысль разрешить». Но есть инстанция высшей неморальности, требующая согласовать нечто само по себе не обоснованное, — и тут срабатывает бесстрашие логотомии (и наступающая логотомия рефлексия ressentimentа идет по пятам).

Вот Сократ испытывает Полемарха, который готов к испытаниям, невзирая на возможный ущерб для собственной морали, для всех традиционных способов причастности к этосу:

«— И воинский стан тот лучше оберегает, кто способен также проникнуть в замыслы неприятеля и предвосхитить его действия?

— Конечно.

— Значит, тот горазд беречь, кто способен и воровать.

— По-видимому.

— Значит, если справедливый человек способен сохранить деньги, то он способен и похитить их.

— По крайней мере к этому приводит наше рассуждение»<sup>8</sup>.

Что тут скажешь? Конечно, Господин не стал бы вникать в подобные аргументы, он, скорее всего, пришел бы в ярость от попытки сбить его с толку. Что же, Сократ и в самом деле выступает как переориентировщик ressentimentа? Не будем спешить, вспомним Шекспира: слова, слова, слова. Увы, для многих — всё слова, что не деньги. Для «некоторых людей» доводы вообще не имеют значения — так, кимвал бряцающий и водопад шумящий. Чистая логотомия на них совершенно не действует, она ничего не детерминирует в их поведении, и потому те, кто все же готов последовать за полученным



выводом им столь же чужды, как и господин, не тратающий время на доводы. Из этого двустороннего непонимания странным образом вытекает, что «господин по природе» и тот, чьим проводником является и остается логос, не так уж далеки друг от друга. Они вместе противостоят тем, для кого все слова пусты поскольку и если они «мимо кассы».

И если, как говорится в Библии, «слово стало плотью», то перед нами, вероятно, — господин своего слова. Если же слова остались только словами, это может указывать либо на «всеобщее жлобское состояние мира» (текущего положения вещей), неисправимое в своем презрении ко всякой «вербальной составляющей» вообще, либо на то, что мы находимся среди заклинателей и укротителей слов, среди которых и жрецы рессентимента, и большинство ученых и философов.

\* \* \*

Рессентимент, как известно, порождает две вещи: несчастное сознание и цинизм. Логотомия же чаще всего порождает *несчастное бытие*, но иногда обуславливает удивительный прорыв духа внутри формации рессентимента. Его опытные переориентировщики, фальсификаторы ценностей, говоря словами Ницше, привычно и профессионально терзают несчастное сознание, не оставляя, однако, попыток, вывести более гармоничное существо — такое, которое принимало бы их слова за чистую монету, обходясь без сложения диалектических виражей. То есть, порождая психологию, рессентимент затем стремится к ее последующему упразднению как к своему идеалу. Подобная задача казалась совершенно несбыточной, но два последних десятилетия обозначили возможность успеха. Порода людей, избавленных от несчастного сознания (а заодно и от неопределенности классического субъекта) была выведена на территории Европы. Ранее я назвал этих простых и счастливых гомункулусов хуматонами<sup>9</sup>, используя термин Д. Хосли. Пока сложно говорить о выживаемости этой популяции, но этнические привязки европейцев, похоже, уже утрачены, и в этом смысле прежние народы Европы мертвы как народы, даже если они и сохраняют привычные этнонимы.

Для дистиллированно корректных европейцев интоксикация в духе рессентимента избыточна и не нужна. Они и так совершенно искренне признали приоритет другого, будь этот другой арабом, гомосексуалистом, психоаналитиком или демократически избранным политиком.

Именно в этих условиях обнаруживается или, скорее, может обнаружиться, особая судьба логотомии. Все же ставка на связующую силу логоса происходит из материи обещания и тесно связана с личностной демиургией присутствия — это негативный принцип свободы, лучше всего описанный в «Записках из подполья» Достоевского. Посредством слова утверждается бытие-вопреки как последняя достоверность того, что я действительно есть.

Такой персональный жест является лучшим подтверждением человеческой свободы, но индивидуальная манифестация свободы, конечно, не обязательно связана с логотомией.

К тому же новая прямая чувственность, обнаружившаяся вдруг после многовекового торжества ressentimenta, имеет мало общего с той сферой аффектов, для сдерживания и обезвреживания которой ressentiment, собственно, и использовался. Планка новой прямой чувственности есть именно результат глубочайшей анестезии и обезвреживания, она расположена на самом низком энергетическом уровне, так что даже ressentiment по сравнению с этой «целостностью» прямо-таки преисполнен духовных порывов, Обретенная вновь прямая чувственность похожа на «кашу понарошку», прямой же она является потому, что все же представляет собой естество — новообретенное естество, недостижимое для вечно промежуточного ressentimenta с его неустранимым внутренним расколом. Тут пресловутые жрецы и переориентировщики столкнулись с величайшей внутренней превратностью, с настоящим диалектическим иллюзионом. Они, безусловно, одержали победу и добились чего хотели, добились немислимого, говоря в духе восточной мудрости, заставили тигров впрягаться в повозку. До этого все время приходилось перед завершающей порцией успокоительного *бередить рану* пациенту и прибегать к зондированию профилактического характера. Дело, однако, увенчалось успехом, полным и безоговорочным. Дрессировщики справились с дрессируемыми. Укрощенные существа совершенно перестали оказывать сопротивление, более того, они приняли все выработанные условные рефлексy, среди которых есть воистину шедевры изощренности и изощренности, — приняли в качестве собственных новообретенных инстинктов. Все получилось в точности как в песенке Булата Окуджавы:

На дурака не нужен нож,  
Ему с три короба наврешь —  
И делай с ним что хошь!

И что же? В тот самый момент, когда безоговорочная победа была одержана, когда триумфатор понял, что прирученный и вправду счастлив и готов совершенно искренне, наивно, отстаивать то, что ему так изощренно внушалось, — именно в этот момент дрессировщик осознал не свое, а его превосходство. Ведь никто из жрецов рессентимента так и не обрел естества и не избавился ни от одного невроза, тогда как многострадальная паства, наконец, избавилась едва ли ни от всех них. И тут дрессировщик воочию увидел предел своего могущества: ему не дано стать одним из счастливых малых сих. Не дано и в том смысле, в каком это было дано настоящему господину, то есть путем сквозного резонанса когда «воля господина есть непосредственно моя воля», как писал Гегель в своей знаменитой главе из «Феноменологии духа».

С исчезновением сопротивляющегося материала рессентимент и сам обречен на затухание — как огонь, которому больше нечего жечь. Но достигнутая цельность так и остается на самом низком энергетическом уровне: представляется, что инфлюэнс крупномасштабных эффектов, обретение витальности, возможны лишь путем привнесения извне. Например, через вторжение варваров.

И все же, логотомия может вполне оказаться спасительной, ибо принцип, который торжествует в силу своей доказательности и доказанности, должен доказываться также решениями и поступками.

\* \* \*

Логотомия есть рассекаТЕЛЬ преднаходимой структуры аффектов — и на этом первом этапе она, как уже отмечалось, почти неотличима от рессентимента. Но одновременно это скоросшиватель жизни на основе личных принципов — именно здесь пролегал решающее отличие, поскольку эти личные принципы не просто «слова», но и суверенные источники поступков. То есть слова, поступки и решения образуют общее поле. И то, что «проходит», легитимируется в этом поле. Становится императивом, как доказательство, проведенное по всем правилам в диспуте ученого сообщества.

Обратимся для пояснения к сфере криминального экзистенциализма, к чрезвычайно поучительному анекдоту, имеющему, по сути, статус притчи.

Ночь. В какой-то тускло освещенной комнате за столом сидят воры и налетчики, пьют водку, закусывают и неспешно беседуют (другой вариант — играют в карты). Вдруг, неизвестно откуда, появляется крыса и пробегает по столу. Один из сидящих, молодой вор, успевает снять ботинок, и прибить

крысу, уже почти спрыгнувшую со стола. Возникшее оживление прерывает пахан, который, обращаясь к молодому вору, говорит:

- Мы, сидящие за столом — воры. Так?
- Так.
- Крыса — тоже вор. Так?
- Так, — предчувствуя недоброе, отвечает виновник.
- Значит, выходит, ты убил вора. Обоснуй.

И воцарилось молчание: несколько минут все молча смотрели на обвиняемого. Предъява была в высшей степени серьезной, и обвиненный тоже молчал и напряженно думал. Наконец, он принял решение и обратился к пахану.

- Смотри, мы, сидящие за столом, воры. Так?
- Так.
- Крыса тоже вор. Так?
- Так.
- Так что же, ей запахло было с нами посидеть?

История хороша в качестве анекдота, в этом качестве она свидетельствует о том, насколько близки и понятны разборки по понятиям современному российскому обществу. Но и как притча она отличается глубиной и точностью. В действительности, в уголовном мире, как и во всяком архаическом социуме, действующие табу, как правило, не обсуждаются, они внедрены в сознание в качестве социально-психологических констант. Однако всегда бывают *сложные случаи*, и данная притча прекрасно иллюстрирует, что такое авторизация (суверенность) и что такое логотомия.

Итак, возникает казус, достойный обсуждения, в данном случае — *казус крысы*. Мы видим, что происшедшее не вызывает ни растерянности, ни попытки апеллировать к прецедентам, напротив — существует согласие насчет того, что деяние (убийство крысы) должно быть обосновано. Именно от успеха обоснования будет зависеть жизнь *трагического героя* — или, во всяком случае, его социальный статус. И тут на наших глазах происходит рождение новой социальности — и сам пахан, каким бы он ни обладал авторитетом, вынужден подчиняться выводу обоснованного суждения, причем и он, и все присутствующие как бы испытывают резонанс аффекта справедливости. Чувственный резонанс, а не просто формальное согласие, которое не конвертируется ни в какую внутреннюю валюту.

Тем самым притча обрисовывает действующую модель логотомии: на месте воров могли бы быть эллины или русские нигилисты. И это нечто большее, чем «суд чести», это именно вживание слова в плоть, иллюстрация того случая, когда слово стало плотью. Картина разительно отличается от рессентимента, в частности в ней нет и следа цинизма как обратной стороны медали всякой лукавой рефлексии. Представим себе других людей, каких-нибудь партийных функционеров или действующих политиков. Они точно так же сидят за столом после партийной конференции или митинга, где они в изобилии сыпали высокими словами, выдерживали принципы риторики, к чему-то призывали и в чем-то клялись. А теперь они сидят за столом и ведут негромкий, но единственно серьезный разговор: они делят деньги. Все звучавшие перед этим слова они несколько не ставят друг другу в укор, поскольку знают, что все слова, не подкрепленные деньгами (то есть идущие мимо кассы), — мусор. Таковы элита всякого общества рессентимента в измерении слишком человеческого. Их жизнь, впрочем, вовсе не исключает того, что после деления денег каждый из них пойдет в свою церковь и поставит богу свечку.

## ПРИМЕЧАНИЯ

<sup>1</sup> Ницше Ф. Воля к власти. Фр. 443. СПб., 2007. С. 252–253.

<sup>2</sup> Там же. Фр. 430. С. 239–240.

<sup>3</sup> Там же. Фр. 431. С. 241.

<sup>4</sup> См. Шелер М. Рессентимент. М., 2014.

<sup>5</sup> Петров М. К. Язык, знак, культура. М., 1991.

<sup>6</sup> См. Энаф М. Маркиз де Сад. Изобретение тела либертена. СПб., 2005.

<sup>7</sup> Ницше Ф. Воля к власти. Фр. 583. С. 342.

<sup>8</sup> Платон. Государство // Платон. Соч. в 4 т. Т. 3. М., 1994. С. 87.

<sup>9</sup> Секацкий А. От Просвещения к транспарации. Последний виток прогресса. СПб., 2012.